Кольцо.

Вяч. Шишков.

Афоньке шесть лет, его двоюродному брату, Степану,—шестнадцатый. В третьем году Степан уехал с отцом в Москву; уехал Степкой, вернулся Степаном Обабкиным, «комсомольцем молодежи». Голодное время его отец работал в деревне на своей земле, потом вновь поступил на фабрику.

— Ба́тька мой большевик, — с гордостью говорил Степан. — И как где собрание, обязательно речь сказывает... Называется — предшествующий оратор. Я всякий раз на собрания ходил. Речей двадцать завсегда. Слушаешь, слушаешь, уснешь: уж очень люблю я речи слушать. Батька мой, конешно, в общем и целом слесарь, а я комсомолец молодежи теперь. Хочешь в комсомол? Я здесь организую. У вас тут засилье, ни одного комсомольца нет.

И много, много говорил Степан Обабкин белобрысому, большелобому Афоньке. Тот хлопал глазами, во все уши слушал, от напряжения потел. О разных московских чудесах говорил Степан: об электрическом свете, о трамваях, кинематографах, аэропланах, и какие представления в театрах, и о том, как в майский праздник вся Москва на площадях, все красным-красно, и двадцать миллионов рабочих масс...

Заманчивей, упоительней всего для Афонькиной души рассказы о полетах ввысь и кинематографе.

— Ну и картинки... Вот картинки! — поддавал жару Степан Обабкин. — Например, охота на диких зверей в Африке — неограниченная республика такая существует: тигры, слоны, львы. Ужасти до чего занятно. Эх, вот бы тебе, Афоня, в общем и целом поглазеть...

— А звери-то настоящие? — раздувал ноздри Афонька.

— Неужто нет! Все настоящее... Опять — дворцы, и как в них тираны-короли живут-прохлаждаются, или, например, города разные, моря, корабли. Все настоящее... Гонщиков еще показывали на автомобилях. Знаешь? Называется — знак тринадцать. Все натуральное, всамделишное, обмана нет.

— Вот бы...— прошептал Афонька, и вдумчивое, выразительное лицо его умилилось.

* * *

А тут... В этакую глушь, в трущобу нежданно-негаданно прибыл какой-то человек, называется — кино-спец, фамилия непонятная. Росту он небольшого, коренастенький, — на носу глазастые очки, — из каких он народов, — неизвестно. Даже Степан Обабкин не мог определить.

— Лоб китайский, нос чухонский, глаза цыганские, а голова с плешью, — говорил он. — Надо полагать — интернационал. Только не музыка, а личность.

И вот началась история.

Кино-спец снял у крестьянина большой пустовавший сарай, быстро приспособил его для кинематографа и вывесил афишу, что, мол, будет показано самое настоящее кольцо Нибелунгов, замечательная картина, мировой боевик, от которого ахнешь, — а кто не верит, может убедиться за 15 копеек серебром или 5 штук свежих яиц, не болтунов. После же сеанса, мол, будут со сцены кушать семидюймовые гвозди с демократическим подходом к событиям, а не как довоенные жулики-шпагоглотатели с буржуазной точки, и прочее и прочее, да здравствует Советская власть!

В этой глухой, но зажиточной деревне сроду никто не видывал кинематографа, и, несмотря на приманчивые зазывы кино-спеца, билеты вовсе не раскупались. Тогда, в подмогу кино-спецу сам себя мобилизовал Степан Обабкин; согласно идеологии, он с жаром взял под свою защиту это культурное начинание. Вместе с Афонькой, тоже пожелавшим принять горячее участие в деле столь высокой важности, они бегали из избы в избу с агитацией. Степан Обабкин, в новых брюках-клёш и картузике с светлым козырьком, уверял мужиков и баб, что невиданной живой картиной все останутся довольны, там все движется: лошади бегут, собаки лают, люди дерутся или целуются, как живые, и все живое, настоящее, без всякого обмана, даже можно испугаться, когда вдруг пожар или в пропасть вниз башкой, а за ним погоня.

Однако красноречие не помогало. Тогда Степан Обабкин, забыв заветы комсомольства, начинал клясться и божиться, как цыган, размашисто крестясь в передний угол:

— На, черти, на! Вот те Христос... Да что ты, дядя Степан, не веришь-то?!

С ним заодно усердно крестится и торжествующий Афонька. Парнишка сразу вообразил себя большим, даже пробовал щупать верхнюю губу — не выросли ль усишки. Под влиянием Степана Обабкина он чувствовал и сознавал всю важность лежащей на них двоих задачи. Степан же Обабкин, если прижимистые мужики не шли и на божбу, употреблял угрозу, как последнее средство агитации:

— А кто не придет, — становился он в позу и смахивал на затылок кепку,— кто не явится, тот будет в подозрении, потому что тот человек не верит в Советскую власть плюс литрификация! А верит в попов для одурманивания бога и темных масс!

— Темных масс, — вторил и Афонька, делая лицо строгим, значительным.

— Неужто вы не можете понять, — гремел комсомолец, — раз город повернулся лицом к деревне?!

— Лицом к самой деревне...—толстым голосом прохрипел и Афонька, но пуговка на его вздутом животе вдруг лопнула, и штаны упали на пол.

Все захохотали, Афонька же быстро натянул штаны и весь вспыхнул. Внезапный провал его деловой солидности сжал его гражданское маленькое сердце, и он, поддерживая проклятые штаны, с горьким плачем выбежал на улицу.

Положение дела с сеансом спас милицейский. Он приехал для порядка из соседнего села, где в прошлое воскресенье кино-спец показывал фильму.

— Успех обеспечен, товарищи, — говорил он собравшимся на лугу крестьянам. — Прямо удивительно. Да вот увидите... Волосы дыбаром встанут. Ленту покажут первый сорт.

— На кой нам его лента-то? Девки мы, что ли? — отнекивались, галдели мужики. — То кольцо, то лента... Нам правильное кажи... Чтоб польза... Клевер там, либо удобрение какое... Небось, драть дерут, а тут так...

Однако народу на сеанс привалило много: огромный сарай едва вместил. Добрая половина зрителей пролезла, конечно, даром: под шумок, когда начался сеанс, парни с ребятами разобрали угол крыши и скакали в мрак, как в омут жабы.

Дед Вавила, что глазами недоволен, на первую скамейку с внуком Афонькой сел.

— Сеанс начинается! — крикнул кино-спец.

Что-то замигало, замигало, вспыхнуло, гладкая выкрашенная известкой стена вдруг провалилась, и вместо нее — живая жизнь. Раздался общий удивленный вздох, затем глаза и рты широко раскрылись, таинственный полусумрак онемел.

Афоньке стало жутко и приятно. Афонька слышал много сказок и вот теперь перед ним, перед самым его носом — имай, бери! — настоящая сказочная явь.

Дрожащим шопотом Афонька объясняет:

— Вот, гляди, дедушка, все настоящее это... Гляди, гляди!.. Лес-то какой, домище-то какой... И господá... Кажись, короли да королевы...

— Франциль Винциял, — прошамкал дед. — Либо Бова королевич представлен это.

— Нет, дедка!.. Настоящее. Спроси-ка Степку. И лес настоящий... Гляди, ветром-то как его треплет... Аж шумит.

Вдруг лесной тропинкой какой-то длинноволосый дурень на белом коне мчится. И прямо на деда. Дед как вскочит, Афонька за ним.

— Не озоруй!..— крикнул дед в стену, где шумел, качался лес.— Пошто озоруешь?! Пошто коня на народ пускаешь?!. Неужто он, дьявол, ослеп, — скачет прямиком на нас с Афонькой...

— В чем дело? — спросил сзади кино-спец, он бросил накручивать, и картина остановилась.

— Лопнула, лопнула, — зашуршало по толпе.

— Ничего подобного, у нас нет лопнутых картин, — обиделся кино-спец.—Сейчас увидите небывалую от сотворения мира битву великого витязя Зигфрида с невиданным драконом, длина которого семьдесят две сажени, а в метрах значительно больше.

Все ахнули и покачнулись. Драконище, поводя огромной, величиною с хороший дом, страшной мордой пил воду из гремучего ключа. Многие заплевались, кто-то крикнул: «вот так, братцы, коркодил!..». Дед Вавила крестился, неумолчно творя вслух молитву:

— Заступница усердная... Мати господа высчего... Всех нас заспаси, спаси, помилуй, — кряхтел он, обливаясь страхом. Надо бы без оглядки прочь бежать, но уж очень интересно, как Франциль Винциял будет с окаянным биться. Однако, когда зверь повернул свою трехэтажную устрашительную морду к деду и чихнул, возле деда запахло редькой, Афонька же прошептал:

— Настоящий... Ох, сожрет он рыцаря. Вот, дедка, каких зверев господь создал...

— Чтоб ему лопнуть, нечистой силе!!. Свят-свят-свят...

Вот показался рыцарь. Он сбросил с себя одежду и, нагой, бежит по тропе к чудовищу.

— Голый, голый!—захихикали бабенки... — Эй, молодчик, беги к нам!

Рыцарь сверкающим мечом удар за ударом наносил дракону. Зверь бил хвостом, шевелил лапами, крутил мордой, и глаза его, каждый по стогу сена, свирепели.

— Кончины живота нашего... безболезненны, непостыдны, мирны,— крестился, шамкал дед. — Ох, язви-те... Гляди, гляди!.. Обранил!.. Так его, собаку... Дуй!..— закричал он и замахнулся на зверя батогом.

А Афонька:

— Настоящий! Глянь: кровь текет из ноздрев. Глянь: блюет, блюет!..

Зверь изрыгал из пасти потоки крови, кровь лилась из раны и ноздрей. Его глаза смежались смертью. Дед дрожал, хватался то за скамейку, то за внука, ему казалось, что подыхающее чудище перевернется через башку и всех, сколько есть в сарае народу, раздавит в смятку.

— Живот чего-то схватило, — прокряхтел дед.—Побудь тут... А я сейчас... До ветру...—закултыхал в раскорячку вон.

Свет погас. Кино-спец сказал:

— Сейчас будет девятая, последняя часть...

— А где же седьмая-то с осьмой? — удивились голоса.

— А это благодаря опечатке, — отрапортовал кино-спец, и его очки перескочили с горбины на лоб. — Но это, товарищи, ничего, поймете. Остальное я дополню игрой воображения.

— Чорт с ним... Игра, так игра, — брюзжал народ. — Крути скорей. Эй ты, облакат!..

Картина менялась долго. Дед пришел и со слепу чуть не сел на какого-то младенца.

— Я, дедка, здесь!.. — позвал Афонька.

— Ах, ядрена каша, — удовлетворенно сказал дед, когда победоносный рыцарь появился во дворце прекрасной принцессы.

Дед вытер с лысины пот и не отрывался от картины. Но вот киноспец объявил, что сеанс окончен.

— А где же кольцо?—прошил примолкший полумрак чей-то голос, колючий, как веретено.

И заскакали голоса, перебрасываясь от стены к стене:

— Мошенство это!.. Обещались небелужье кольцо какое-то да ленту.

— Да и то не показали... Где оно? Омман!

— Крути еще! Хозяин, а хозяин!

— Братцы, требуй! Ах, занятно до чего...

— Вот чудеса-то, братцы!..

— Ну, ребята... У меня от удивленья аж рубаха взмокла вся...

— Крути!.. Чего молчите, требуй!..

— Сеанс окончен! Надо ленту перематывать...

— А ты не перематывай, крути... Занятно, слышь...

— Я сказал: сеанс окончен!

— Братцы! По афише — гвоздье глотать... В таком разе — требуй!

— А неужто отступаться... Эй, товарищ из городу!..

— Гляди не сбежал ли?!. От них, от лягавых как раз...

— Иди гвоздье, сукин сын, глотать, раз обещал!.. А нет — мы те...

На опрокинутую вверх дном бочку поднялся кино-спец:

— Тшшь... Спокойно!

— Товарищи! Граждане! — он был бледен, бритое лицо его покрыто потом, голос глух. — Гвоздей требуемого размера в продаже нет благодаря огромного спроса.

— Ах, не-е-т??. Так мы те шурупов принесем. Винтов да гаек. Жри!

— Помимо сего, товарищи, мой помощник, спец по едению гвоздей, украл у меня три с полтиной и как человек, подверженный алкоголю, скрылся. Он, наверно, где-нибудь сидит и наслаждается пьянством, поставив меня в невыгодном свете среди вас. Я как директор прошу снисхождения.

— Деньги назад! — загремел сарай. — Сколько пятиалтынных в карман оклал? Ишь ты... Яичками сбирать... Пять штук за вход.

— Товарищи! — вздыбил на бочке милицейский и помахал картузом. — Это недопустимо, товарищи, чтоб назад деньги. Он, как-ни-как, трудился, ехал, крутил машину... Расход и все такое...

— Не желаем! Глотай гвоздье, раз взялся... А нет, мы те сами в рот вбякаем... Обманщик, жулик...

— Товарищи!—протрясся голосом кино-спец. В его острых глазах вдруг заиграли зайчиками лукавые смешинки, но губы опасливо вздрагивали. — Я предвижу выход из положения, товарищи... Вместо всем приевшихся гвоздей я покажу фокус египетских магов: живой овце публично отрежу голову, а потом приставлю к тому же пункту, голова сра-

стется, и овца начнет, как ни в чем не бывало, кричать по-бараньему. Желаете?

— Ребята, как?

— Желаем! Кажи!.. Просим!

— Тогда тащите сюда хорошую, вполне живую овцу, — и киноспец обвел собрание веселым взглядом. Скрытый смех кривил его бритые, взнузданные кверху губы.

Минуту стояла тишина, огрузшая тяжким сопеньем, точно волокли все миром в гору стопудовый воз.

— Митрий, — несмело раздалось из темного угла — тащи, шутки ради, овечку. У тебя много их.

— Нашел дурака, — окрысился Митрий и сердито повертел во все стороны длинной шеей. — Где ж ему, к лешевой матери, овечью башку пришить на то же место, к тулову, раз он срежет? Да что он бог, что ли, или угодник?..

— Напрасно, товарищи, сомневаетесь... Все исполню, как сказал.

— Дед, приведем овечку, — ткнул Афонька сладко дремавшего деда. — А, дедушка!

— Какую овечку? — вытер дед слюни. — Я-те приведу...

Амбар жужжал, как улей. Крестьяне уговаривали друг друга притащить овцу. Никто не соглашался. Посыпались укоры, ругань: «Жадный чорт...» — «Сам дьявол некованный, жаднюга...» — «Ты в председателях ходил, набил карман-то!..». В углу бранились бабы. Антип тряс Митрия за грудь и кричал ему в рот, как безнадежно глухому. Бранливые голоса скрипели, трещали, ломались, будто усердные старатели швыряли лопатами щебень и камнищи. Вот у стены взмахнул кулак и, как грач в гнездо, пал с налету в чью-то бороду. «Ах, ты драться, тварь? Выходи, коли так, на улку!» — «Я те и здесь влеплю леща!» И еще десятки ртов смачно переплевывались гнусными словами из конца в конец. Попахивало мордобоем, свалкой.

— Стой! Братцы! Что это за безобразие! — надрывался милицейский.—Всех перепишу и к допросу... Дьяволы какие, а?..

Шум постепенно стал смолкать.

— Товарищи! — вопил с бочки комсомолец молодежи и что есть силы топал ногами в дно: клёш мотался и шлепал, как собачьи уши.

— Товарищи! — перхая и кашляя, кричал он. — Такой неорганизованный скандал из-за шелудивой овцы — позор культуре!..

Шум потух, как во тьме костер, но сердитое пыхтенье клубилось серым пеплом, и, словно угли, тлели обозленные глаза.

— Неужели вы, будучи сознательны, — говорил комсомолец молодежи, — не можете предоставить один комплект овцы, которая будет возвращена хозяину в общем и целом, да я еще гривенник от себя прибавлю тому сознательному товарищу, раз он постарается для процветания науки. Ведь это фокус, товарищи! Я и не такие еще фокусы видывал, будучи в Красном Ленинграде. Да не шумите вы! Желаете, нет?!

— Просим, сыпь!

— Например, фокусник берет у гражданина новую дорогую шляпу, разбивает туда десяток яиц, кладет масла скоромного, соли и жарит в шляпе, как на сковородке, яичницу-глазунью. Все удивляются и сидят, разинувши рты от удовольствия, а гражданин, будучи голова босиком, хочет звать милицию, что испортили евоную шляпу. Все оцепенели, как при ужасном преступлении, а из шляпы с яичницей валит пар. Ну, в это время ударяют, конечно, в барабан, а фокусник — пиф-паф! — кидает вверх гражданскую шляпу с яичницей, и — гоп-ля! — шляпа в новом виде, будто сроду не надевана, делает мертвую петлю и летит к гражданину, который рад. А яйца, не разбитые, а в общем и целом падают в фартук фокусника...

— Правильно, верно... — подтвердил милицейский. — Я видал.

— А вы овцу жалеете... Эх вы!.. Народы! — комсомолец подбочинился, гордо взглянул в сторону Афоньки, взглянул разом на весь сарай и ударил криком в низкий потолок:

— Даешь овцу?! Кто сознательный?!

— Я! — поднялся крестьянин из бедноты, Акинфиев. — Я самый сознательный и есть. — Сонное лицо его помято, как у горького пьяницы. Он зевнул, сказал: — Сейчас пымаю, — и, неуклюже натыкаясь на людей, направился к выходу. Из дверей заспанным, потным голосом спросил:— А замест овцы поросенка ежели, сосунка? — и, не дождавшись ответа, скрылся.

Томительные минуты ожидания прервал Степан Обабкин. Он вскарабкался на бочку, заложил руки в карманы и, повертываясь на каблуках во все стороны, начал:

— Вот, товарищи, благодаря хождению за овцой, можно митинговать о картине, которую рассматривали в упор. Я, будучи комсомольцем молодежи, во всяком разе должен вести агитку согласно идеологии, как отец учил. Воротимся к зверю. Вот видите, граждане, обратите ваше внимание, какие в царских лесах водятся первоклассные драконы. Вот оно, засилье буржуев! Эти самые буржуи, потрясая кровавыми челюстями и пуская из рабочих кровь, окопались с королями — и завладели всем огромадным, примечательным зверьем. Называемые рангутанги или по-русски — драконы ни в какой копчег не влезут. И этими чудовищами владеет преступная кучка буржуазии. Им с таким зверьем, товарищи, жить тепло и не дует. Не надо никаких тракторов, товарищи, ни волкостроев, ежели и такого чорта обучить пахать. Да этот зверина тыщу вагонов попрет и не крякнет, ежели зацепить за задние лапы. Вот они, паразиты-буржуи, какое окружение делают нашей стране! Долой соглашателей!!

Семен Обабкин, маленький и вихрастый, взмахнул рукой и победоносно осмотрелся.

— Теперь вникните, товарищи, какое же наследие оставила буржуазия пролетариям и нам, крестьянам? Что за звери достались на нашу угнетающую долю? А достались нам, товарищи, замест замечательных

допотопных драконов, какие-то паршивые объедки с барского стола, какие-то крысы с кротами, да хомяки. Вот что с нами делают заграничные банкиры!.. Самый же крупный зверь у нас, это ведмедь, и тот косолапый, не говоря уже про мировой масштаб. А мясо евоное в рот не возьмешь даже и в голод. Вот, товарищи, вы теперь очень даже наглядно видите, как нашего брата облапошивает иностранный капитал, какую выдумывает блокаду. Вот где окружение-то, вот где постольку-поскольку зарыто небелужье-то кольцо!.. — Комсомолец молодежи азартно сплюнул и закричал, потрясая кулаками и клёшом: — Но настанет час, товарищи, когда мы с красным знаменем в одной руке, с ручной бомбой в другой...

— Товарищ! — прервал его кино-спец, — за поздним временем — сядь. Граждане, он ничего не понимает в сценариях. А дело в том, что здесь все искусственно: как первобытный лес, так все дворцы и действующие лица, это все искусственно, то-есть не натурально, а сделано в Америке или в Германии, в особых павильонах,—вам не понять в каких, но мы не будем вдаваться в философию. А дракон и подавно не настоящий, таких чудовищ на свете нет, это оптический обман.

— Ага, обман!.. — задирчиво, как дратвой, кто-то протянул. — Видали, братцы?!

Афонька же широко открыл глаза и позабыл дышать. Нет, врет этот самый гражданин, будто все не настоящее, врет, врет, людей морочит!

А кино-спец свое:

— Этот колоссальный дракон сделан из дерева, проволоки и брезента, а сверху выкрашен, — клевал он носом и поправлял очки. — В середке же, в брюхе у чудовища и в морде, сидят люди, в каждой лапе тоже по человеку для механического воспринятия. Эти люди производят там манипуляцию вправо, влево, отчего чучело оживает. Понятно теперь? Я слышал во время сеанса детский голос, что чудовище блюет. Ничего подобного! Он употребляет в пищу только нефть, как физический механизм. А из раны и прочих природных отверстий у него течет красная вода, которую выкачивают спрятавшиеся туда рабочие, когда им крикнут, что, мол, шкура протыкнута, качай, ребята, со всех сил. Значит, тут все основано на иллюзии, на оптическом обмане, и пугаться нечего, как сделал сидящий предо мной старец возле милого мальчишки. Надо только восхищаться полным усовершенствованием и до чего дошла наука в СССР.

— Врешь, дурак, врешь, — шептал сквозь слезы Афонька, — зверь самый настоящий... Врешь!..

— Товарищ кино-спец! — закричал Степан Обабкин, сменяя говорившего. — Вы мне за поздним временем подали сигнал — садись, мол, но это абсурд. Я не маленький и спать постольку - поскольку не хочу. Я тоже платил пятиалтынный, заработанный самым кровавым трудом.

— Вальни, вальни его, Степка, пошибчей! — сердцем, кровью безголосо прокричал Афонька. — Сволочь какая, враль.

— Я приветствую вас, товарищ кино-спец, от имени всего комсомола, как предшествующего оратора, а раз зверь не настоящий, то я извиняюсь, повертываю идеологию и иду дальше. Очень хорошо, что таких зверей на свете нет, а это американское чучело, — сказал Степан Обабкин и взглянул на Афоньку. Тот вдруг опустил голову, замигал и стал колупать скамейку. — И очень хорошо по двум пунхтам: первый пунхт программы, если такие звери, спаси бог, водились бы в трудящей стране, они сожрали бы весь урожай предыдущих годов. Ведь одному такому дьяволу к ужину тридцать возов сена нужно, окромя пойла и прочих нарпитов. Что касаемо второго пунхта, вникните, товарищи, в положение американских рабочих. Одни рабочие попали чудовищу в ужасные лапы и там сидят, как со строгой изоляцией... А другие рабочие в брюхе корячутся вправо, влево, не имевши кубатуру воздуха. Я вас, товарищи, спрашиваю: нормально это или позор? Ага, вы молчите из полного сочувствия, факт! Вы, товарищи, обратите внимание, ежели читаете газеты, где сидит наш рабочий и крестьянин, и где заграничный? Наш сидит летом в Крыму, во дворцах, а заграничный настолько забит буржуями, что лезет в общем и целом во что попало: дракон встретится — в дракона, чорт искусственный валяется на дороге, он и в чорта постольку-поскольку рад залезть, благодаря малосознательному затемнению масс... Позор буржуям и всемирным лордам! Бей их, анафемов, как бил голый человек на картинке, хотя одетый рыцарем, а наверняка из трудовой глубокоуважающей интеллигенции... Как этот оратор... нет, не оратор, а как его... проткнул пузо анафеме. И примем, товарищи, единогласную резолюцию, чтобы после этого удара у дракона, который есть всемирный буржуй-капиталист, потекла не вода из насоса, а настоященская кровь, согласуемо идеологии! Я кончил, товарищи...

Степан Обабкин форсисто вынул из кармана аккуратно сложенный платок, ловко встряхнул его и, помахивая в раскрасневшееся счастливое лицо, соскочил с бочки.

Керосин в лампе выгорал. Конопатый дядя подбавил свету. Слышались утомленные позевки. В двух-трех местах безмятежно похрапывали. Бабы, как белки, лущили семячки, сплевывая шелуху на колени, на головы соседей. В заднем углу парни прищучили девок к стене и жали из них масло, девки повизгивали и пыхтели, сопротивляясь ядреными задами и спинами натиску парней.

Афоньке же хотелось плакать, хотелось броситься на кино-спеца, разбить его глазастые очки и бежать без оглядки в лес.

— А ведь правильно, паршивец, разъяснил, — грубо упал в шаршавое затишье готовый к скандалу голос. — Комсомолишка-то...

— Степка молодца, с понятием...

Степан Обабкин, публично названный паршивцем, встопорщился, как на червяка галченок, и уже занес ногу, чтоб с горячей отповедью вскочить на бочку, но его нога миролюбиво опустилась: ведь, оскорбивший его обидчик все-таки сказал, что он разъяснил правильно, и это

комсомольцу льстило. Он только крикнул, грозно рассекая воздух кулаком:

— Тут паршивцев в общем и целом нет! — и сел.

— Жулик! — резко отчеканил, как кулик в болоте, тот же голос.— Наобещал, наобещал, а показал фигу. Тоже, картинки двигательные...

— Да мы на такие картинки и чхать-то не стали бы. Тьфу! Какой в них прок? Одно непонятное...

— Чего мелешь! Пес с ней, что непонятная.. Зато живая...

— Лес фальшивый, этот окаянный коркодил тоже фальшивый, дворцы фальшивые, и господа с царями фальшивые... Тьфу!

У Афоньки пуще заныло сердце, кончик носа стал холодный, словно лед, уши горели.

— Все фальшивое! — опять прохрипел скандальный голос. — А, небось, денежки с нас стребовали нефальшивые... Ишь ты!.. Губа-то не дура... Жулики...

— Врешь! Очень интересный сеянец. Просим еще посетить...

— Ах, еще? Кому это желательно еще? Ну-ка, высунь морду на свет. Эй, шапка!

— Картина первый сорт! — раздались молодые голоса. — Только, вот, кольца нету. Где кольцо? Хозяин, а хозяин!

— Кольцо Нибелунгов, товарищи,—поблестел очками кино-спец,— оно находится в последней части, оно будет показано в следующий специальный приезд. А то нашему брату, частному предпринимателю, обрезаны права, и ленты дают с изъянцем, — он бросил окурок и притоптал американским сапогом.

— Правильно, — поднялся милицейский. — Товарищи, я как представитель власти должен вас обнадежить так: в газетах получено известие...

— С живого-мертвого налоги драть?

— Ничуть не бывало! — строго боднул головой милицейский. — Правительство, повернувшись лицом к деревне, хотит образовать правильную постановку через показывание натуральных картин казенным способом. Будут агитки показываться, боевики, а также и хорошие картины насчет обработки земли, как в России, так и за границей. Это факт.

— Просим, просим!

— И все будет бесплатно, товарищи! Даже театры выстроят и ни копейки не возьмут.

Забредили ленивые хлопки, взорвалось молодое, игривое «ура». Степан Обабкин сказал:

— Выразить благодарность от лица крестьянской бедноты!

— Просим, просим!

Кто-то засмеялся:

— Беднота за овцой ушла... Где он, дьявол?

На светильне нагорела черная шапка. Пахло копотью, онучами, пареной брюквой и деревенской духмяной дремой.

— А теперь, товарищи, пойдемте спать, — предложил милицейский.— Два часа уже...

— Кто против? — бодро вскочил комсомолец.

— А овцу-то резать? — всполошились голоса.

— Эй, сходите кто-никто за Акинфиевым!.. Что он тетерев мохноногий, шутки-то шутит... Да карасину бы...

— Поздно, ну его к чертям с овцой-то...

Кто-то запел по-озорному:

— «Вставай, проклятьем заклейменный!» — и резко свистнул. — Айда домой!

Зрители проснулись и, позевывая, стали выползать на свежий воздух.

— Враки какие, чтоб, значит, барану голову долой и опять срослась, — вяло бубнил народ, толпясь у выхода.

— Да ежели мухе башку оторвать, и то сроду-родов не припечатать...

— Вот так нас, темных дураков, и водят за нос-то.

— Так нам и надо...

— А вот послать телеграм Калинину... Жулики!

Было темно. Вдова Агаша-красна ягода напоролась на плетень, разорвала форсистую кофточку в разводах и звонко заругалась в печенку, в селезенку, во всяко место. Парни подсвистывали, гоготали:

— Эй, Агаша! Иди, заштопаем!..—и, нарушая собачий сон, орали песни.

Кучка человек в пять ради озорства постучала к Акинфиеву. Тот вздул огонь, открыл окно.

— А овца? Ты чего же это, лешегон? Какой же ты, к чортовой матери, сознательный? Сколь часов порядочных людей заставляешь ждать не жравши. А?!

— Да бра-а-тцы... Баба не дает, — виновато прохрипел лохматый Акинфиев, почесывая бороду. — Говорит, зарежут до смерти, а там судись.

— Какого же ты чорта!.. Пришел бы, упредил.

— Да бра-а-тцы... Нешто не знаете? У меня нет овцы-то...

— Как нет?

— Третьеводнись продал прасолу... Дюже в сон бросило меня с картины-то, вот я и пожелал уйтить...

— Тьфу! Чтоб те сдохнуть, — и кучка со злобным смехом удалилась.

Летучая мышь едва коснулась крылом белоголового, в белой рубахе Афоньки и беззвучно упорхнула. Афонька еле двигался, он вел деда за рукав и был подавлен виденным и слышанным. Его душонка была пуста, как вывернутый карман. Эх, Степка, Степка!

— Ты что в молчанку-то? — спросил дед, шаркая ногами по невидимой земле.

Афонька вздохнул и продолжал путь молча.

— Замаялся, что ли? — опять спросил дед.

— Так, ничего, — булькнул, всхлипнул Афонька.

Он много слышал сказок от бабушки, от деда, от товарищей. И душа его, как жаворонок в свете солнца, трепыхала в ребячьих сказочных мечтах. Афонька верил в сказку, как в явь, как в быль. В сказке все живое, настоящее: и Кащей бессмертный, и Конек-Горбунок, и Баба-Яга, и Франциль Венциял — все быль и явь. И — словно волшебный сон — Афонька, сидя рядом с дедом, увидал в натуре живую сказку: и Змея-Горыныча, и Францыль Венцияла, и бородатых колдунов, и прекрасную Миликтрису Кирбитьевну. И всю жизнь был бы Афонька по горло счастлив, не открой рта этот очкастый цыган-китаец. Прахом рассыпалась Афонькина мечта, нет на свете сказки и не будет!

И вот, спотыкаясь и сопя, лобастый, вдумчивый Афонька ведет деда в свою душную маленькую избу, и ему представляется теперь, что и деревня их не настоящая, и лес, и пашня, и небо — все фальшивое, и люди не настоящие, поддельные, и дед, да, может, и он сам, Афонька. Настоящей же, всамделишной казалась ему лишь одна темная ночь, сквозь которую он тащил упиравшегося деда.

«И чего это сплоховал Степка, дурак. А еще я, говорит, комсомол. Оробел, видно, струсил. Дурак, дурак».

Ночью все крепко спали. Даже милицейский, кот, курицы, петух и кино-спец, даже комсомолец Степан Обабкин. Афонька же не мог уснуть. Афонька плакал неслышно, в подушку, крадучись.

Плакал, плакал, а Степка и говорит ему: «Пошто ты это в общем и целом воешь?» — «Ничего нет на свете взаправдашнего, настоящего», — пустил пузыри Афонька. — «Брось, — сказал Степка, — садись скорей...». Афонька сел, и — полетели. Все выше, выше. Глядь — облака, словно кисель. «Эх, поесть бы», — подумал Афонька, но ложки не было. — «А где же солнышко?» — спросил он друга. — «Ночь еще», — ответил комсомолец молодежи. Глядь — месяц, и совсем будто недалечко, версты две-три, ох, и большой, и светлый! И какие-то жители кирпичом толченым его трут, — поплюют-поплюют, да ну тереть тряпицей. — «Это субботник называется, — пояснил Степка, — трудповинность».

А кругом звезды так и подмигивают, так и смотрят во все шары на летунов. «Удивительно как», — улыбнулся Афонька голосом, а самому страшно, сердце мрет. Летят, летят. Города, деревни, пашни, лес. «А это Москва, — гордо сказал комсомолец молодежи, Степан Петрович Обабкин. — Кремль, видишь? Солнце встает». — «Солнышко, солнышко!.. — громко закричал Афонька и с тревогою вдруг спросил, как бы спохватившись: — А он настоящий?» — «Кто?» — «Этот самый... Вот летим-то... Ироплан?» — «Знамо дело, настоящий, раз вверх летим... И мы с тобой настоящие». Афонька любовно гладил струны: — «Настоящий! Милый мой...» — и чует: трудно дышать от радости, вздыху нет, фу-ты...

— «Держись, садимся!» — и на землю хоп. Афонька вздрогнул, открыл глаза и сел.

Белое утро, настоящее. Туман глядит в настоящее окно. У печки мать овсяные блины печет, самые настоящие, со скоромным маслом, и настоящий кот лапой личность промывает. А дед богомолебствует в углу: перекрестит лоб, зад поскребет да в окошко лысиной уставится: проехал кто-то, прошагал. Афонька улыбнулся, крикнул:

— Дед, а дедушка!

— Заспаси-спаси, помилуй... Ну?

— Я, дедка, самый настоящий. И Степка настоящий, Степан Петрович...

— Чего эта-а-а?

— А ты—нет... Ты, вопчем и целом, так, обман...—сказал Афонька и стал надевать настоящие портки.